**Валерия Гречина, г. Зеленоград**

**Где прячутся белые**

*Посвящается дедушке Саше*

Грибы пахнут сушеными яблоками. Их среза́ть надо, а не срывать, срывать с корнем не надо. Когда листьям страшно, они сворачиваются в трубочку. И я свернусь в трубочку, и я свернусь в трубочку.

Ты лежишь на койке со сползающей вниз прозрачной пуповиной катетера, которую бабушка то и дело поправляет. Желтые реки текут и ухают в целлофановую емкость, ногти синеют и становятся похожими на сливы, которыми мы заполняли карманы, а потом раскидывали по всему саду освобожденные от кислой мякоти косточки.

— Пойду снег расчищу, — успел сказать, а потом осе́л, обмяк. Шерстяная кепка так и осталась лежать на столе среди пирогов с капустой, которые ты всю неделю просил бабушку напечь.

Надкусываю яблоки и бросаю. Надкусываю и бросаю. И ты находишь огрызки с потемневшими отпечатками моих зубов.

— Валерия, Валерия, где твоя кавалерия? — Она в карты играет, она на пруд пошла, она в прятки. — А ты что не прячешься? — А я уже спряталась. Видишь, малину клюю, как птичка. — Лети еще вишню поклюй и крыжовничка.

Брови — седые вихри, глаза вот-вот да что-то учудят. Рубашка мокрая, к спине липнет. Плечи — широкие берега. От плеча и до плеча — пол-меня. Обнимаешь — сжимаешь грудную клетку, так сильно, что, кажется, вовсе не выдержит — хрупнет.

В небо взмывают стаи. Они острые как иглы. А я стою где-то между. Держу тебя за руку. Над ладонью мозолистая твердость. Костяшки пальцев махровые. Смачиваю ватой сухие, покрытые белой пленкой губы. И они снова становятся фиолетовыми, как будто слюнявыми.

Щеки впалые, заросшие чем-то нездешним. Нос острый, орлиный. Издаешь звук — короткий, гулкий. Отворачиваешься.

На подоконник залетела птица, у нее брюхо желтое, как у цыпленка.

Ты подобрал как-то цыпленка на дороге, принес его в кармане телогрейки. Он был мокрый и дрожал, и ты весь вечер просидел, выхаживая его в утробе своих ладоней.

Приподнимаешь завесу одеяла. — Дедушка, я не хочу видеть твою укромность, закрой одеяло, закрой одеяло.

Ты заплываешь глубоко, в самую чащу пруда. Ты заплываешь туда, где водятся выдры и пиявки. Я ловлю головастиков и присматриваю за тобой. Ты прячешь свои бутылки в мои свитера́.

Холодные тонкие блины в горле комом. Рис с распаренным изюмом по кругу. Рис по кругу. Мне за этим длинным узким столом тесно. Бабушка, обрамленная темным платком, дедушка, забывший дома свои валенки. Валенки стоят в предбаннике, рядом с коробкой мерзлой антоновки. Валенки тоже мерзлые. На гвозде висит выцветшая опухлая телогрейка с порванным рукавом и обнажившейся ватной мякотью. Хочется зарыться в эту телогрейку, пахнущую костром и известкой. Сливы опали и покрылись белыми конопушками плесени.

В зеркале с деревянным подрамником отражается борода, которой у тебя никогда не было. В зеркале отражается смятая подушка, на которой ты сжимал голову со всей силы. В зеркале отражается слово *мама*, единственное, которое ты произнес перед тем, как уйти.

…Ты уходил всегда вперед, тыкал мох палкой и всегда знал, где прячутся белые.

**Твой пудель**

*Посвящается дедушке Вите*

Твой пудель покрылся пушниной одуванчика. Он просто пушится, дунешь — разлетится. У него глаза мутно-голубые, он спотыкается, иногда стукается об углы комнаты. Опускает помпон хвоста и ложится тебе в ноги, уткнувшись носом в тапки.

Ноги распухли, при виде ботинок они хотят съежиться. Втискиваешь их в узкие горлышки ботинок, кричишь.

Ты говоришь только *раз-раз* и *давай-давай*. Помнишь, как случилось извержение, ты упал, провалился на дно. И тебя оттуда достали, с самого дна, с самого стылого дна. В больнице, где ты лежал, из крана капала ржавая вода.

Голова болит, в голову стукнул дятел, и с тех пор она сама не своя. Одно ухо не слышит, заросло мхом. Во второе можно докричаться. Ты сидишь на кресле, в сутулом халате в катышках. Ты похож на серого мотылька, серого сутулого мотылька. Твои вещи раздадут соседям, новые рубашки с бирками. И ту клетчатую байковую, которую я тебе подарила.

Жена зовет тебя пить шиповник, а потом кисель, а потом кефир. Ты вжимаешься ночью головой в подушку. Заворачиваешься в одеяло, как гусеница, и стонешь во сне. Тебе снится Оля в шляпе с широкими полями и сарафане, не прикрывающем коленки. Ты целовал эти коленные чашечки. Ты не хотел, чтобы она уходила. Ты пытался ее удержать за подол сарафана.

Чашка бьется, она выпадает из твоих рук, падает медленно и грохается на пол. Гремит гром и мне страшно, а ты говоришь — кто боится грома, у того нет дома.

Я знаю, что ты меня услышишь, даже лежа на этой белой кровати. Твои волосы отчего-то стали рыжими. Как эта ржавая вода из крана.

Твой пудель покрылся пушниной одуванчика. Я боюсь дунуть, я боюсь дышать.

Я верю, что ты сидишь на кресле в своем халате в катышках. И я могу усесться на твои колени и свернуться улиткой. Ты меня погладишь кончиком пальца. И скажешь — я положу тебя в карман и в обиду не дам.

Твой пудель снова станет черным и кудрявым. Его шерсть будет переливаться на солнце. Он будет громко лаять, от этого лая будут разбиваться стекла.

**Кокон**

— Когда умру, открой шкаф, вон тот, что в углу, — она тянула палец к окну, за которым с неимоверной неукротимостью рушились наземь снежинки. Баба Люба тянула палец, запетленный не кольцом, но старостью, мятый, складчатый, желтоватый палец, дрожащий мелко, готовый вот-вот упасть в обморок, или еще глубже.

— Там, в шкафу, стопочкой, вещи, — задыхаясь, говорила она. — Выгладила, выстирала, когда… оденешь меня в них.

— Когда умру, открой шкаф, — твердила она спустя вечность нескольких минут. От нее тянуло душностью мочи и затхлостью, как от корзины с начавшей плесневеть антоновкой. А быть может, я все вру, и все уже позабыла.

Баба Люба открывала глаза, пускала взгляд в потолок, а сквозь него, в небо, слюнявые губы жевали самих себя. Некогда мягкие, собранные в косынку волосы спутались, превратились в клочья, которые гребенка зажует, да выплюнет, а еще хуже — застрянет, и не оторвать. Я расчесывать не решалась, да она и не подпускала.

— Не тронь, это силушка моя, — говорила она.

Когда зеркало перестало отражать ее, лежащую на кровати, и ее стоптанные косолапые тапочки, похожие на скукоженные поганки. Когда зеркало было спрятано под темную гладкую ткань, я открыла шкаф, стоящий в углу, и, прежде чем взять стопочку вещей, приготовленных «на последнюю дорожку», ощупала тень широкоплечего, непонятно откуда взявшегося мужского пиджака. Рядом с ним висело бабушкино васильковое платье с шелковыми полупрозрачными крылышками воротника, юбкой солнце-клеш и двумя тонкими усиками-ленточками, завязывающимися сзади в бант. Словно бы это платье принадлежало бабушке, когда она еще была бабочкой, прежде чем превратилась в кокон мумии, лежащей на кровати в белых, как снег, вздутых подгузниках.

На пиджак упал свет, и я его разглядела: коричневый, с широкими карманами, в которых поместилась бы буханка хлеба, с маленькими пуговицами-бусинками. Пиджак висел напротив бабушкиного платья. Оба они — на вешалках. Оба — бестелые. Пиджак прижимался к платью всеми своими пуговицами, словно бы обнимая его. Во всей их неподвижности угадывался онемевший танец. К горлу подступала тошнота.

Вспомнилось, как я мыла бабушку. Как приподнимала ее, тяжелую, неподъемную, втискивала под осунувшиеся ягодицы таз. Поливала промежность из пластмассового кувшина, как в детстве поливала из леечки гладиолусы. Бабушка вздыхала глубоко-далеко-высоко. Желтоватые, словно заржавевшие, ногти приходилось отстригать прямо с кожей. Бабушка кричала истошно, на всю свою узкую, длинную, безбалконную комнату. Кричала не пойми что, наверное, на греческом, или бог его знает на каком языке. Когда я ее помыла, она стала вдруг очень красивая. Морщины разгладились, лицо порозовело. Открыла глаза, уголки губ пошевелились, попытались подтянуться к улыбке.

— Баб Люба, ты такая красивая, — сказала я ей тогда.

— Ты меня сегодня вымыла, как на свадебку…

Это были ее последние слова. Потом — крики. Страшные, громкие, словно бы душа цеплялась за тело до последнего.

— Люба, бабушке сегодня двадцать исполнилось. Сходи в церковь, — услышала я свои слова, и вздрогнула.

**Вьюн**

Плащ твой шуршит совсем рядом. Я раскладываю карты на мокром сетчатом гамаке. Голову стягивает косынка, такая, как по грибы, только кисточка хвоста виднеется из-под косыночного спада. Делаю вид, что не слышу твоего запыханного дыхания. Знаю, что пришел не ко мне, прячешься от дедушки, в прошлый раз он пытался тебя огреть лопатой, когда увидел, как ты обвил Юлькину талию. Обвил талию, как вьюн, который обвивает смородину, белый такой, с цветками-колокольчиками. Ты увернулся от лопаты и целую неделю к нам не приходил. И целую неделю я ждала, когда придешь. Снова выпал бубновый валет в красном своем берете. А у тебя кепка с замусоленным козырьком, а под ней челка стриженая.

Шмыгнул в кусты малины.

— Эй ты, Юльку позови, — услышала за спиной.

— Ага, побежала, — огрызнулась я, но все-таки слезла с гамака.

Вечером сидели в шалаше. Доски были влажные после дождя. Колышки не горели. Ты чиркал спичкой, она быстро прогорала и гасла. А я сыпала крупную соль на сырой кусок черного, просыпала ее на сарафан, зеленый и длинный, до самых пят, которого в темноте не видно. Внизу живота стягивало и начинало печь, как бывает у печки, когда дедушка жарит голые кругляшки картофелин, или у костра, когда яблоки, запущенные в огонь, начинают темнеть, пузыриться и свистеть как мины.

А потом пришел Андрюшка и принес сухие поленья из дома. Мы играли в пантомиму. Ты долго кривлялся перед костром, ходил на цыпочках, держался кончиками пальцев за невидимый подол, часто моргал и так неестественно громко смеялся, что я ничего не поняла, когда все начали смотреть на меня и мой сарафан.

Весь вечер я не поднимала глаз, смотрела, как обгорают картофелины, как превращаются в черные комья. А потом мы шли по плотине, ты с Юлькой впереди, я сзади. Я смотрела на твои узкие плечи, на которых болталась ветровка с пустыми рукавами. И мне хотелось схватить этот рукав и сжать так сильно, как только могу.

Когда пришли домой, бабушкин храп уже заполнял террасу и принялся за сад, дверь в сад была приоткрыта. Юлька толкнула меня вперед, мол, иди.

Я лежала на кровати и слышала, как вы шушукаетесь в саду. А быть может, это был ветер, и шелестели яблони. И мне так невыразимо сильно захотелось стать яблоней, или смородиной, чтобы ты обвивал меня.

**Дебри**

У него уши-лопухи, веснушки толпятся на носу и вот-вот рухнут в овраги ноздрей, из которых выглядывают темные поросли. Он меня колет словами, как репейником, который бросает в волосы. Пряди приходится обрезать вместе с колтунами.

Он подкрадывается сзади, настигает, сует мне за шиворот лягушку. Я стою в душе и долго натираю спину мочалкой и не могу отмыть слизь. Выливаю всю воду, но не могу отмыть слизь.

Он подходит ко мне снова, вплотную, и спускает мои штаны. Спускает перед всеми. Я не знаю, сколько времени я стою без штанов. Я не знаю, стянулись ли трусы. Видны ли мои стыдные дебри. Дебри темного, кудрявого леса. Раньше у меня были дольки персика, а посередине язычок колокольчика. А сейчас заросли леса. Я быстро подтягиваю штаны. Потом долго ворочаюсь, не могу уснуть. Мне хочется проткнуть его ногу вилкой, как однажды проткнула ногу сестре, когда она назвала меня пеньком. Лучше бы она назвала дурой или сказала, что у меня тонкие губы или что у меня руки как ветки или нос картошкой. Но только не пеньком. Не пеньком.

Я смотрю на него, прищурив глаза. А он смотрит на меня и жует травинку. Через несколько лет он целует меня с языком. И даже сует пальцы в мой глубокий колодец с зарослями леса. И мы курим один на двоих винстон.

**Рубаха**

Стылая вода. Вода стылая. Белая рубаха прилипла к ногам. Губы шершавые, открывает рот, как будто хочет пить. Губы покрыты сухой пеной. Она тянет руки, реки вен застыли. Они больше не текут, не текут. Волосы длинные, путаные, пахнут тиной и сырой рыбой.

— Пелагея, рубаху выстирай, — хрипнул Григорий. Смял и бросил ей под ноги. Чтобы Паша опустилась и подняла.

Ему нравилось, когда Паша опускалась. Он заставлял ее опускаться. И делать непристойное, стыдное. Он ослаблял ремень на штанах. И ждал, когда она опустится низко, до самого змеиного ремня. Он тянул ее за косу, до боли в затылке. Иногда толкал ее на кровать, за печкой. Задвигал шторку. Наваливался всем телом. Паше не хватало воздуха, казалось, грудная клетка лопнет. И косточки таза разойдутся в стороны, как ворота их дома. Но ворота были закрыты. Мама месила коровий навоз, пока Григорий месил Пашино тело. Пока он вбивал колышки в ее нутро. От него пахло потом и бражкой. Он часто дышал, а потом шлепал ее по ягодичной половине. Шлепал так, что Паша вскрикивала: «Ой». А он говорил: «Пошла вон».

Паша опустилась на карачки на мостке, натирала рубаху куском мыла и по доскам жмыгала. Стала выполаскивать. На воде вздулись волдыри пузырей. Паша на миг отпустила рубаху, та стала тяжелеть, топнуть. Паша пыталась ее поймать. Пустой рукав взял ее крепко и потащил за собой. Паша хлюпнулась в воду, завернулась в водовороте. Пыталась закричать, но вода заполнила ее рот. Заполнила мешочки легких. Паша запомнила день. И приходит каждый раз в этот день.

На подоконнике стоит банка с мочеными яблоками. Они лежат, как сморщенные младенцы. Григорий берет лопату и закапывает вздувшуюся Пелагею. К ее телу не хочется прикасаться, на него не хочется наваливаться. Наваливаться и давить.

— «Ушла телочка быков окучивать», — скажет он матери, и она сделает вид, что поверит. И пойдет окучивать картошку, и будет опускаться низко, до самой земли.

Один из ее детей кусал ее соски до крови, вытягивал их в длинную змею, а потом свалился с печки и сварился в лоханке с горячей водой. Другой подавился мясом от заколотого на Рождество поросенка.

— Ничего, новых народим, — обещал ей Григорий и наваливался на нее.

Петр подбирался всегда как будто нехотя, скромно, как будто стучался в закрытую дверь. Она открывала и говорила: входи же! И тогда он входил и быстро выходил наружу, как будто боялся потревожить. Пелагея была Петрова дочь.

Мать окучивала картошку, как будто пыталась, всковырнув землю, найти Пелагею. Но нашла только мерзлую прошлогоднюю картошку.

Пелагея цепляется за ржавую цепь, гремит. Она хочет выбраться из колодца, из этой стылой воды. Она хочет найти рубаху.

**Тритоны**

*Моим нерожденным братьям и сестрам посвящается*

Шкурки опадают с тритонов, прозрачные, слизистые, они пахнут лежалой рыбой и болотной тиной. Они уже не нужны.

Мама пропадала на несколько дней, а потом подолгу не разрешала сидеть у себя на коленях. Я не понимала и лезла, она отталкивала. У мамы руки с тонкими кистями, ими можно махать, как метелками. Они держатся на тонких косточках, которые слегка выпирают. Мама сидит, опустив руки, разговаривает со всеми, но никого не видит.

Она запирается в туалете, я жмыгаю дверью ручки. Слышу, как льется вода, льется потоком. Мама выходит как ни в чем не бывало, начинает подметать или мыть посуду.

Мы живем в однокомнатной квартире на десятом этаже; когда приезжают гости, я сплю на соединенных, как сиамские близнецы, диванах, на кухне тоже кто-то спит, на пружинистой раскладушке. Раскладушка похожа на гамак, который висит на яблоне, в который можно свернуться гусеницей.

Папа хотел мальчика, его хотели назвать Тимофеем, у него должны были быть карие глаза, у него должны были быть светлые волосы. Но все получилось не так и родилась я, голая и лысая. Но родилась я и много плакала. И две недели мне не могли подобрать имя.

В деревню нас завозили на лето, и мы рассыпа́лись по саду, как яблоки.

Сестры шептались в кустах малины, я знала, о чем они шепчутся. Я слышала шуршащее, как целлофановый пакет, слово «мачеха». Они называли так мою маму.

У меня жили тритоны, я их поймала в пруду возле дома. Среди них было несколько королевских. Они были крупные, с колючей гривой и пятнистые. Они жили в трехлитровой банке, я меняла им воду, кормила травой и червями. А потом поставила банку на верхнюю полку и забыла. Когда вспомнила, — они уже откинули свои шкурки. Прозрачные слизистые, похожие на дождевики.

— А если мальчик? — спрашивает мама. Папа мотает головой.

Если бы у меня был брат, он был бы похож на меня, у него были бы светлые волосы и под глазами мешки, он бы тоже не любил творог.

Заглядываю в бочку с дождевой водой, вода в бочке черная. В воде водятся пиявки. Хочется окунуться с головой в эту воду, лишь бы не есть разваренные листья щавеля, лишь бы не пить эту болотную воду, в которой раньше жили тритоны.

Сестры помещают меня в стеклянную банку бойкота, кричи не кричи — не услышат. Они затыкают уши, глубоко, до боли, чтобы меня не было. Они закрывают глаза и смеются.

В конце лета мы вернемся в однокомнатную квартиру на десятом этаже. Сестры будут жить в другом месте — с бабушкой и дедушкой. Я буду залезать к маме на колени и прятаться в ее волосы.

Мама закрывает глаза, чтобы не видеть тритонов. Не видеть, как опадают их прозрачные шкурки, которые пахнут лежалой рыбой и болотной тиной. И не гладить пустой, усыпанный мошкарой родимых пятен живот.

**Кесарка**

*Кесарки почти как доярки, только они не доят, а косят, у них у всех есть косы, плетеные косы на животе.*

Надо мной нависла необъятность ночной сорочки с узким воротом, черной дырой неизвестности, в которую должна была войти моя голова и выйти уже в новом мире, где все в одинаковых сорочках, где все одинаково бесплотны.

Я слышала только скобление, как скоблят молодую картошку, еще не успевшую обрести плотность кожи. Сложенная втрое пеленка наполнялась, теплела, и ее меняли. Низ живота тянуло. Мне казалось, что внизу алюминиевый рукомойник, тот самый, бабушкин, жмыгающий стержнем. Воды всегда не хватало, а сейчас течет и течет. И запах у нее соленый, как у рыбы, завернутой в желтоватую пеленку пергамента.

Бабушка отделяла себя от одежды, как отделяют лук от шелухи. Она стеснялась своих ног с выпуклостями вен и желтоватыми шишками. Чулки застревали внутри сандалий темными сгустками. Она заходила в воду осторожно, словно вода обжигала ее.

Мне вонзили шпиль в спину, и я перестала чувствовать ноги, они стали как будто чужими, отделенными от меня, от общего целого, они уплывали в никуда, за белую шторку, разделявшую меня надвое.

Кесарки ходили согнутыми по длинному коридору, по которому возят детей в тележке на колесиках, доставляя в палаты, где в утробе халатов прячется сморчок соска, готовый вытянуться в гусеницу, из которого можно добывать сок молочно-морковный, нездешний.

Я лежала на узкой койке, дышала в голую гладкую стену и гладила опустевший живот.

Мне хотелось почувствовать схватку, тесную, между которой умещается только молитва. Схватка, которая сжимает как спазм, а потом отпускает. Чтобы у меня отходили воды, по которым бы плыли утята, покрытые желтым пушком, я бы их кормила хлебом.

Я потрогала пальцем плетенку шва внизу живота, залитого зеленкой.

И думала о том, как в аквариуме кювеза, по-лягушачьи раскинув ноги, в непомерных размеров подгузниках лежит человек. И просит его вернуть обратно, и снимает носок с досады.

Пахнет йодом и водорослями. Я потеряла бабушку из виду. Она заплыла глубоко, в голое ничто моря.